

С октября 1976 года и до 1979-го, когда я вернулась в Неаполь, я намеренно избегала общения с Лилой, хоть это было и непросто: она настойчиво лезла в мою жизнь, а я, как могла, старалась этого не замечать. Даже когда понимала, что она искренне хочет меня поддержать. Мне было слишком трудно забыть, каким презрением она облила меня, узнав про мою связь с Нино.

Если бы она просто обозвала меня кретинкой, наорала на меня по телефону, чего, кстати, не делала *никогда* в жизни, – я бы быстро остыла. Но она лишь сказала: «Подумай о своих дочерях – что с ними-то будет?» Тогда я не обратила на эти слова особого внимания, но со временем они стали все чаще всплывать у меня в памяти. Лиле никогда не было дела до Деде и Эльзы, и я почти уверена: она и имен-то их не помнила. Если я принималась рассказывать ей об их очередных шалостях, она только коротко хмыкала и тут же переводила разговор на другую тему. Впервые увидев их в доме Марчелло Солары, она скользнула по ним

рассеянным взглядом и ограничилась парой общих фраз: не похвалила их красивые платья и аккуратные прически, не восхитилась, какие они умненькие и какая грамотная у них речь. А ведь это были *мои дети*, дети ее лучшей подруги, и простая вежливость требовала пусть неискренних, но теплых слов, способных потешить материнскую гордость. Но нет, она не удостоила нас даже доброжелательной улыбки. И тут вдруг вспоминает о моих дочерях – с единственной целью дать мне понять, что я плохая мать и ради своих удовольствий обрекаю их на несчастье. Само собой, она завидует, что Нино достался мне. Меня ее упреки бесили. Много она сама думала о Дженнaro, когда ушла от Стефано? Когда бежала на свой завод, бросая ребенка на соседку? Когда на целое лето сплавляла его мне? Может, я и далека от совершенства, но уж мать из меня точно получше, чем из нее.

2

В те годы я постоянно думала об этом. Своей брошенной вскользь фразой Ли́ла как будто назначила себя адвокатом моих дочерей, и теперь каждый раз, делая что-то для себя, а не для них, я вынуждена была перед ней оправдываться. Правда, я подозреваю, что она просто ляпнула первое, что пришло в голову и что не имело никакого отношения к моим материнским способностям. Что она думала обо мне на самом деле, могла бы сказать только она сама, если бы решилась вторгнуться со своими замечаниями в мой текст, переписать отдельные сцены, вставить пропущенное, вычеркнуть, по ее мнению, лишнее, сообщить обо мне вещи, которые я предпочла бы скрыть. Хотелось бы мне, чтобы она это сделала. Я надеялась на это с той самой минуты, как села писать нашу историю. Но прежде я должна довести

свой рассказ до конца. Если я попытаюсь подключить ее сейчас – все развалится. Я так давно пишу, что уже устала; мне все труднее удерживать нить повествования в хаосе прожитых лет, маленьких и больших событий, собственных настроений. Я или пропускаю целые куски своей жизни, чтобы вернуться к Лиле и к тому, что происходило с ней, или – что еще хуже – заикливаюсь на своих бедах, просто потому, что их проще описывать. Но это ложный выбор, и я должна его избегать. Первый путь не подходит мне потому, что с самого начала нашей дружбы сложилось так, что я все время ее догоняла; стоило мне остановиться хоть на минуту, и я рисковала отстать навсегда. Но и второй путь ничем не лучше: чем подробнее я буду описывать свою жизнь, тем вернее сыграю ей на руку. «Вот и правильно, – скажет она, – кого может заинтересовать моя жизнь, если даже ты не находишь в ней ничего заслуживающего внимания. Что я такое? Помарка на странице! Разве мне место в твоей книге? Плюнь на меня, Лену. Про помарки романов не сочиняют».

Что же мне делать? В очередной раз признать ее правоту? Согласиться, что взросление – это в первую очередь умение уйти в тень, слиться с пейзажем до степени полной неразличимости? И честно сказать себе, что чем дольше мы знакомы, тем меньше я знаю Лилу?

Сегодня утром, преодолев скопившуюся усталость, я снова сяду за письменный стол. Именно теперь, когда я вплотную подошла к самому болезненному этапу нашей истории, мне очень важно соблюсти точный баланс между собой и Лилой; пусть он появится хотя бы на страницах моей рукописи, если в жизни мне так и не удалось отыскать его даже в себе.

О пребывании в Монпелье я помню все, кроме самого города; можно подумать, что я никогда там не была. Кроме гостиницы и просторного зала, где проходила конференция с участием Нино, в памяти остались только осенний ветер и голубое небо, покоящееся на белых облаках. Зато само слово «Монпелье» в силу разных причин стало для меня символом свободы. До того я была за границей всего один раз, в Париже, с Франко. Та поездка представлялась мне небывалой дерзостью: я жила с убеждением, что мой мир будет навсегда ограничен родным кварталом и Неаполем, а если я и выберусь из него, то совсем ненадолго, чтобы только острее ощутить, чего я лишена. Монпелье не поразил меня так, как когда-то поразил Париж, зато здесь я почувствовала, что плотину наконец прорвало и я вырвалась на волю. Я осознала, что наш квартал, Неаполь, Пиза, Флоренция, Милан, Италия – это всего лишь небольшие фрагменты огромного мира, и я не обязана всю жизнь только ими и довольствоваться. В Монпелье я ощутила всю узость своих взглядов, всю ограниченность языка, каким до сих пор пользовалась. Я поняла, что нельзя в тридцать два года сводить свою жизнь к исполнению роли жены и матери. В те дни, наполненные любовью, я впервые сбросила узы, которые таскала на себе долгие годы, – узы своего происхождения, узы своей старательности в учебе, узы принятых решений, в первую очередь – решения выйти замуж. Только в Монпелье мне стало ясно, почему я испытывала такое удовольствие при виде изданий своей первой книги на других языках и почему так расстраивалась, узнавая, что за пределами Италии читают ее мало. Это было прекрасно – выезжать за границу, знакомиться с другой культурой и понимать: то, что я считала абсолютным, на самом деле относительно. Лила никогда не покидала Неаполя, ее и Сан-Джованни-а-Тедуччо напугал,

но если раньше я считала это ее сознательным выбором и допускала, что в нем должны быть свои преимущества, то теперь мне делалось все более очевидным, что это просто признак умственной ограниченности. Как мне хотелось ей отомстить, ответив ее же словами: *«Ты говоришь, что ошибалась на мой счет? Нет, милая моя, это я на твой счет ошибалась. Ты так и проживешь всю жизнь рядом с шоссе, глядя, как мимо проезжают грузовики»*.

Дни летели один за другим. Организаторы конференции забронировали Нино одноместный номер, а поскольку я присоединилась к нему в последний момент, менять номер на двухместный было поздно. Мы заселились в разные номера, но каждый вечер, приняв у себя душ, я с бьющимся сердцем шла к нему. Мы спали в обнимку, прижавшись друг к другу, будто боялись, что во сне нас разлучит злая сила. Утром мы, наслаждаясь роскошью, которую раньше я видела только в кино, заказывали завтрак в постель, много смеялись и были счастливы. Днем я вместе с ним ходила на конференцию; докладчики, выступавшие в большом зале, нудно читали страницу за страницей. Я утешалась тем, что Нино сидит рядом, и старалась ему не мешать. Он внимательно выслушивал каждый доклад, делал заметки, но время от времени наклонялся ко мне, чтобы отпустить иронический комментарий по поводу очередного выступающего или шепнуть, как он меня любит. Обедать и ужинать мы ходили в плотной толпе ученых, съехавшихся из половины стран мира: вокруг звучала иностранная речь, иностранные имена. Разумеется, самые именитые участники конференции собирались за отдельным столом; мы делили трапезу с учеными помоложе. Меня поражало поведение Нино и в конференц-зале, и в ресторане. Это был уже не тот студент, которого я когда-то знала, и даже не тот юноша, что почти десять лет назад вступился за меня в книжном магазине в Милане. Никакой задиристости, лицо серьезное, но в то

же время доброжелательное. Он тактично обходил барьеры, обычные для академической среды, и легко завязывал знакомства. Блестяще говорил, без затруднений переходя с превосходного английского на хороший французский, и показывал, что по-прежнему владеет цифрами и статистикой. Я гордилась им – мне льстило, что он всем нравится. За каких-нибудь пару часов он успевал очаровать каждого, и его без конца приглашали то туда, то сюда.

Был всего один вечер, накануне его выступления на конференции, когда я увидела Нино совсем другим. От волнения он сделался грубым – его было не узнать. Он ругал свой доклад, жаловался, что не умеет писать так ясно, как я, твердил, что ему не хватило времени подготовиться лучше. Я почувствовала себя виноватой (ведь это я отвлекла Нино от работы!) и стала его успокаивать; обняла, поцеловала и уговорила прочесть доклад вслух. Он начал читать – с видом испуганного первоклассника, которого неожиданно вызвали к доске, – чем меня растрогал. Доклад показался мне таким же нудным, как те, что я слышала в предыдущие дни, но я принялась с жаром его расхваливать, и нервозность Нино прошла. На следующее утро он так выразительно прочел доклад, что ему аплодировали. За ужином один из известных академиков, американец, пригласил Нино к себе за стол. Он сел с ним, оставив меня одну, но скучать мне не пришлось. Пока рядом был Нино, я ни с кем не разговаривала, но теперь вспомнила свой скудный французский: познакомилась с парой из Парижа. Они понравились мне сразу, еще до того, как выяснилось, что их история похожа на нашу. Оба считали институт семьи отвратительным пережитком, оба пережили болезненное расставание с бывшими супругами и детьми, оба выглядели счастливыми. Его звали Огюстен: лет пятидесяти, краснолицый, с голубыми, очень живыми глазами и пышными светлыми усами. Ее – Коломба: моя ровесница, тридцати с небольшим,

коротко стриженная брюнетка, с подведенными глазами и ярко накрашенными губами; у нее были тонкие черты лица, и она казалась завораживающе элегантной. Разговаривала я в основном с Коломбой, которая сказала, что у нее семилетний сын.

– Моей старшей дочери через несколько месяцев тоже будет семь. В этом году пойдет во второй класс. Она умница.

– Мой тоже умненький. Выдумщик невероятный!

– Как он перенес ваше расставание?

– Спокойно.

– Неужели совсем не переживал?

– Дети гораздо гибче нас, в них нет нашей заостренности.

Она говорила о детской гибкости с таким нажимом, словно сама себя пыталась убедить, что это правда. «Среди наших знакомых много разведенных, – добавила она. – Дети знают, что так бывает». Я, со своей стороны, призналась, что из всех моих подруг с мужем развелась всего одна, но тут Коломба вдруг сменила тему и принялась сетовать на сына: «Он умный, но слишком невнимательный. Учителя постоянно жалуются, что на уроках он считает ворон». Меня неприятно поразила резкость ее тона, граничившая с ненавистью; она как будто полагала, что ее сын ведет себя так ей назло. Огюстен, должно быть, заметил мое недоумение и вмешался в разговор, упомянув о *своих* сыновьях: их у него было двое, восемнадцати и четырнадцати лет; отец уверял, что женщины от них в восторге – и совсем юные, и более зрелые. Вскоре к нам присоединился Нино, и мужчины – особенно Огюстен – начали довольно жестко высмеивать выступавших на конференции докладчиков. К ним подключилась Коломба, но ее сарказм производил впечатление наигранного. Как бы то ни было, все трое быстро нашли общий язык. Огюстен много говорил и много пил, а его подруга на любую реплику Нино разражалась громким

смехом. В конце вечера они пригласили нас съездить с ними в Париж — они приехали на машине.

Разговор о детях и это приглашение, на которое мы не ответили ни да ни нет, вернули меня с небес на землю. Я и раньше постоянно думала о Деде и Эльзе, и о Пьетро конечно, но мысленно видела их словно существующими в некой параллельной вселенной, в подвешенном состоянии: неподвижно сидящими за кухонным столом или перед телевизором или лежащими в постели. Сейчас мой мир снова соединился с их миром. Я осознала, что пребывание в Монпелье подходит к концу и нам с Нино придется ехать домой — мне во Флоренцию, ему в Неаполь — и заниматься разводом. Я как будто прижала к себе дочерей, почувствовала тепло их тел. Последние пять дней я ничего о них не знала, и от тоски по ним меня замутило. Я боялась не будущего вообще — его я безусловно связывала с Нино, — я боялась ближайших часов и дней, того, что ждет меня завтра и послезавтра. Не удержавшись, я набрала домашний номер, хотя на часах было около полуночи: подумаешь, все равно Пьетро по ночам не спит.

Я долго слушала длинные гудки, но наконец трубку сняли. «Алло! — сказала я и еще раз повторила: — Алло!» Я знала, что на том конце провода Пьетро. «Пьетро, — произнесла я. — Это Элена. Как девочки?» Он бросил трубку. Я подождала несколько минут и снова набрала номер, полная решимости названивать хоть всю ночь. На сей раз Пьетро ответил:

- Что тебе нужно?
- Узнать, как девочки.
- Спят.
- Понимаю, что спят, но как они вообще?
- А тебе что за дело?
- Это мои дочери.
- Ты их бросила. Они больше не хотят быть твоими дочерьми.

- Это они тебе сказали?
- Не мне. Моей матери.
- Ты вызвал Аделе?
- Да.
- Скажи ей, что я вернусь через несколько дней.
- Нечего тебе возвращаться. Мы больше не желаем тебя видеть. Ни я, ни девочки, ни моя мать.

4

Я расплакалась. Немного успокоившись, пошла к Нино. Мне хотелось рассказать ему об этом звонке и получить от него утешение. Я уже собралась постучать к нему в дверь, как услышала, что он с кем-то разговаривает. Я заколебалась. Он явно говорил по телефону — что именно и даже на каком языке, понять было невозможно, но я почему-то решила, что он говорит с женой. А что, если он каждый вечер ей звонит? Неужели, когда я уйду к себе в номер принимать душ, он тут же начинает названивать Элеоноре? Чтобы расстаться с ней без скандала? Или они помирились? Может, для него наша поездка — это что-то вроде лирического отступления, а потом он вернется к ней?

Я решительно постучала в дверь. Нино замолчал, затем снова заговорил, только тише. Я постучала еще раз, громче — никакой реакции. В третий раз я заколотила в дверь изо всех сил. Когда он наконец открыл, я накинулась на него с упреками: кричала, что он скрывает от меня правду, что мой муж хочет запретить мне видеться с детьми, что я поставила на карту всю свою жизнь, а он тут воркует по телефону с Элеонорой. Ночь прошла ужасно: мы в первый раз так ссорились. Нино пытался меня успокоить; то нервно смеялся, то крыл Пьетро, то тянулся меня поцеловать, но я его отталкивала и только повторяла, какая я была дура, что ему поверила. Как

бы я ни настаивала, он так и не признался, что говорил с женой, и даже поклялся собственным сыном, что с тех пор, как мы уехали из Неаполя, ни разу ей не звонил.

– Кому же тогда ты звонил?

– Коллеге. Он живет здесь, в нашей гостинице.

– В полночь? Коллеге?

– Ну да.

– Врешь!

– Нет, не вру!

Я долго отказывалась лечь с ним в постель, но потом уступила: лишь бы не думать, что нашей любви конец.

На следующее утро я впервые за неполные пять дней нашего романа проснулась в плохом настроении. Конференция заканчивалась – пора было уезжать. Я не хотела, чтобы Монпелье остался у меня в памяти «лирическим отступлением»; я боялась возвращаться домой, боялась, что Нино вернется в семью, боялась навсегда потерять дочерей. Когда Огюстен с Коломбой снова предложили нам отправиться с ними на машине в Париж и даже пригласили погостить, я посмотрела на Нино, надеясь, что он ухватится за этот повод отсрочить наше возвращение. Но он в ответ печально покачал головой: «К сожалению, ничего не получится. Нам пора в Италию». Он говорил что-то про самолет, билеты, поезда, деньги, а меня охватила обида и разочарование. «Теперь понятно, – думала я. – Он все мне наврал. Он и не собирался уходить от жены. Звонил ей каждый вечер... И должен вернуться с конференции в срок – даже на пару дней не может задержаться. А мне что делать?»

Тут я вспомнила об издательстве в Нантере и о своем эссе, посвященном мужчинам, создающим женщин. До того я ни с кем, даже с Нино, не говорила о себе. Я была улыбчивой и чуть ли не немой любовницей блестящего неаполитанского профессора, повсюду его сопровождала и поддерживала все его решения и идеи. Но сейчас я весело сказала:

«Это Нино пора возвращаться, а у меня есть дела в Нантере. Там скоро выходит (а может, уже вышла) моя книга – нечто среднее между эссе и повестью. Так что я с радостью поеду с вами. Надо заглянуть в издательство». Оба посмотрели на меня так, словно впервые по-настоящему увидели, и стали расспрашивать, чем я занимаюсь. Я рассказала. Тут же выяснилось, что Коломба хорошо знакома с владелицей этого маленького, но, как оказалось, престижного издательства. Я разошлась, заговорила горячо, возможно, слегка преувеличила свои писательские достижения. Я обращалась не столько к французам, сколько к Нино, чтобы напомнить ему, что у меня есть и своя жизнь, что, раз я осмелилась оставить девочек и Пьетро, смогу обойтись и без него, и не через неделю или десять дней, а прямо сейчас.

Выслушав мои слова, Нино посмотрел на Огюстена и Коломбу и серьезным тоном объявил: «Хорошо. Если мы вам не помешаем, то с удовольствием воспользуемся вашим приглашением». Когда мы остались наедине, он набросился на меня с высокопарной речью о том, что я должна ему доверять, что мы преодолеем все трудности, но для этого нам нужно вернуться домой, а не бежать из Монпелье в Париж или еще бог знает куда, что нам надо поскорее разобраться с нашими семейными проблемами и начать жить вместе. Мне даже показалось, что он говорит не только разумно, но и искренне, и я устыдилась, обняла его и признала, что он прав. Но все-таки мы поехали в Париж. Я получила что хотела: еще несколько дней с ним рядом.

5

Поездка была долгая. Дул сильный ветер, время от времени шел дождь. Пейзаж за окном был окрашен в блекло-ржавые тона, пока небо не раскалывалось вдруг на части, озаряя